

В. ПОПАНДОПУЛО.

Монархия и демократия

Борьба, завязавшаяся между диктатурами и демократиями, обрела на забвение более важный для будущего времени и идейно более глубокий вопрос: демократия или монархия? Пусть для демократов этот вопрос уже решен. Тем горше будет их разочарование, когда властно выльнет его сама жизнь. Диктатура — явление временное, а демократия претендует если не на вечное, то, во всяком случае, на весьма длительное существование. Диктатуры исчезнут, но что сменит их? Демократия или монархия? Демократы искренно убеждены, что монархия, это — удел невежества, остаток темного прошлого и в условиях современной культурной жизни не более как пережиток. Но, как бы то ни было, монархия — учреждение долговечное и, судя по ее прошлому, гораздо более долговечное, чем демократия. Ведь сами же демократы признают, что демократия еще молода, и что наиболее старая из современных демократий имеет не более ста лет от роду (Соединенные Штаты Америки). Поэтому и хотелось бы сравнить демократию не с таким кратковременным явлением, как диктатура, а с тем, что, по меньшей мере в прошлом, было долговечным, — с монархией.

Я знаю, что демократам такое занятие не представляется заслуживающим серьезного внимания: нужно ли сравнивать отжившее с зарождающимся и напрасно расточать время, столь необходимое для действительно неотложной борьбы с надвигающимся на цивилизованный мир грозным бедствием, — со «зверополобной» диктатурой? Думаю, что стоит. Не надо только терять хладнокровие и, ратуя против одной крайности, впасть в другую: не следует в борьбе за свободу становиться фанатиком этой борьбы. Не странно ли, например, когда человек, еще недавно обличавший в верхоглядстве всех, кто не замечал у национализма онтологических корней, с омерзением отрешивается от национализма только потому, что в стане диктатур национализм подвергся прискорбным извращениям? Или когда ярый противник всяких диктатур увлекается мечтой защитить свободу путем установления... диктатуры, но диктатуры, так сказать, влюбленной в свободу. Мысль вышибить клин клином соблазнительна, но может привести к досадным последствиям: как бы новый клин не оказался хуже старого. Думаю, что всякий идейный гнет, во имя ли он свободы, или же против нее, — всегда тяжок.

Собственно говоря, я не противник диктатуры. Если диктатура не переступает естественных своих пределов, не обращается в само-

довлеющий источник всяческого принуждения, то беды в ней нет. Наоборот, бывают случаи, когда такая диктатура даже необходима. Но она должна быть подсудна другому, выражающему правосознание народа, верховному началу: в демократиях — самому народу, а в монархиях — монарху. Современные нам диктатуры ищут всеобщего единства. Это — их цель, их идеал, если угодно, их мечта. Сумеют ли они осуществить свою мечту? Если сумеют, то победа останется за ними. А в таком случае они принуждены будут отлить свои идеи в какие-либо постоянные формы: диктатура не может длиться вечно. Что это будут за формы? Демократия или монархия? А если диктатуры мечты своей осуществить не смогут, то кто их сменит? Другие диктатуры? И в конечном счете опять тот же вопрос: демократия или монархия?

Пусть демократы не обольщают себя мыслью, что монархия отжила свой век. Величайшая империя мира, Британская Империя, объединена не столько английским парламентом, сколько английской короной, и демократы сами знают, что гибель английской короны ставит под знак вопроса целостность Британской Империи. Не значит ли это, что в монархическом принципе не все отжило, что он таит в себе живое начало, начало умирающего и объединяющего? Сумеет ли русская демократия обеспечить единство разноплеменной Русской Империи? Думаю, что нет. Почему? Забегая вперед, отвечу: да потому, что служение русским историческим идеалам и подчинение русским моральным традициям несоизмеримо полноценнее и притягательнее, чем служение интересам русского племени и подчинение его воле, на что могут согласиться разве только одни лишь славяне; иными словами, в силу того, что обеспечить единство империи могут лишь те вершины ее духовной культуры, которые имеют безусловно общечеловеческое значение, а отнюдь не какие-либо, — и это в лучшем случае, — практического порядка преимущества. В самом деле, что может противопоставить демократия такой ценности, как беспристрастный суд монарха, заинтересованного в благоденствии, чести и духовном величии всей империи в целом, а не в процветании какой-либо отдельной ее части? Свободу, скажут демократы. Однако, какую свободу в условиях многоплеменной и многоклассовой империи способна обеспечить демократия всем тем, кто самую судьбою навсегда обречен пребывать в меньшинстве? Формальную? Но такая свобода не чужда и монархии. С другой стороны, эта свобода, сама по себе, не может служить источником всеобщего единения. Скорее она является началом разобщающим, хорошей пищей для всевозможных центробежных сил, стремящихся к самоопределению, самоутверждению и, как говорили наши отцы, к эмиграции. Эта свобода, как все формальное, легка для подражания. Она — удобный товар для вывоза. Будучи возведена в верховный принцип человеческого общежития и не сдерживаемая живой человеческой совестью, она может оказаться вредоносной даже для государства одноплеменного и культурного. За примерами ходить далеко не приходится. Но поговорим об этом после.

Влияние диктатур, даже на демократическое сознание, бесспорно. Демократическая мысль в смятении: уж не ополчилась ли против

демократии сама жизнь? И демократия, естественно, защищается. Она заново пересматривает и обновляет свое идейное достояние. Но характерно: защищаясь, она выскивает для себя все новые и новые определения. То, что мы привыкли понимать под демократией, оказывается всего лишь несовершенными «формами» ее воплощения. Поэтому нет кризиса демократии, есть только кризис этих «форм»! «Демократия для нашего времени, это — прежде всего свобода жизни, свобода исканий, свобода состязания мнений и систем; это — равенство всех перед законом, общность и взаимность развития; и потому это — всеобщее избирательное право, это — самоуправление народа и зависимость от народа власти». «Демократия есть нечто большее, чем та или иная политическая форма, демократия, прежде всего, философское и моральное мировоззрение, основанное на принципах свободы, равноправия, права и братства в политической и экономической области... Если эти идеи плохи, тогда — и только тогда — не годится и демократия». Одним словом, «формальный критерий для демократии не годится... Демократия — понятие более глубокое, категория скорее социально-психологическая, а не только политическая; и определять ее надо по содержанию, а не по форме... Демократия — динамический идеал, цель которого свобода в ее общественном аспекте». Мне приходилось слышать мнение, что монархия, если бы она сумела осуществить идеал свободы, по существу, была бы уже не монархией, а демократией.

Во всех подобного рода определениях вполне отчетливо наблюдается желание отделить идейное «содержание» демократии от ее «форм», иначе, от тех реальных учреждений, которые обыкновенно характеризуют демократию с ее, так сказать, внешней стороны, а также желание поставить эти «формы» в подчиненное по отношению к «содержанию» положение. Другими словами, демократы указывают на свой идеал, как на основной признак демократии, а на всю демократическую практику смотрят всего лишь как на средство для осуществления своей цели и, поэтому, расценивают ее, эту демократическую практику, как нечто такое, что, хотя и сопутствует демократии, но отнюдь не является ее существенным признаком. Одним словом, получается так, что во всех грехах демократической практики повинна не демократия (ведь демократия, это — идеал и, притом, весьма возвышенный), а люди, и даже не люди, ибо всякое деяние рук человеческих несовершенно, а Бог его ведает кто, или, если угодно, — сама природа, которую демократия постепенно и облагораживает. С другой стороны, поскольку идеалы людские в какой-то мере меняются, меняется и сущность демократии: демократия для древних греков и римлян, это — одно, а для нас, европейцев XX-го века, это — другое. И всегда демократия выражает передовые устремления человечества!

Монархия, по определению демократов, это — наследственное единовластие, и ничего больше. Как видите, в данном случае «содержание» исчезает и остаются одни лишь «формы», которые и составляют главную сущность и основной признак монархии. Эти «формы» уже не являются средством по отношению к какой-либо цели, к какому-либо идеалу. Они представляют собой само «содержание» мо-

нархии: они — и цель, и идеал для монархического сознания. И поэтому их недостатки, это — недостатки самой монархии. Почему же такая несправедливость?

Демократия совсем не так уж молода, как это любят утверждать демократы. Впрочем, смысл такого утверждения довольно ясен: даже при условии, что демократия не ответственна за свои «формы», тем не менее, неизживаемые пороки этих «форм», конечно, ее компрометируют. Однако, демократия, не только как явление или понятие, но просто как слово, существует уже более двух тысячелетий. Поэтому, определяя демократию, нельзя ограничивать ее узкими пределами настоящего момента, нельзя забывать о ее историческом прошлом. Тем более, нельзя вводить в определение демократии всевозможные мечты о счастье человеческом, выдавая их, таким образом, за то, что демократия действительно способна дать, и непременно даст. Само собой понятно, что такой способ определения крайне выгоден: демократия изображается в наиболее привлекательном виде, она делается заманчивой, соблазнительной... Античный мир не знал подлинной демократии: ведь там было рабство, а демократия и рабство — несовместимы! Кстати, марксисты пользуются тем же доводом, утверждая, что при капитализме не может быть настоящей демократии. Они заменяют лишь в своих рассуждениях политический аспект рабства экономическим. Но почему же, собственно, демократия не совместима с рабством? А потому, что рабство противоречит основным идеям демократии, главным образом признанию абсолютного достоинства человеческой личности. Думаю, было бы проще, считаясь с фактами, откровенно признать, что рабство не противоречило правосознанию античного человека, что раб не считался гражданином античного государства, что демократия есть строй, охватывающий не всех обитателей страны, а только граждан, и что, поэтому, в общем случае, демократия совместима с рабством. В современных нам передовых демократиях политическое равноправие распространяется далеко не на все население: политических прав лишены иногда женщины и, как правило, иностранцы, колониальные народы... Если такой порядок исчезнет когда-либо, то сможет ли человек будущего отказать этим демократиям в праве называться демократиями? Думаю, что нет. А в таком случае, он должен будет подвести их под свое определение демократии.

Не подлежит сомнению, что демократии бывают разные. Но у них всегда есть нечто общее, неизменное... Вот это общее и неизменное, надо полагать, именно и является сущностью, если угодно, субстанцией демократии. И определять демократию следует, как понятие родовое, пользуясь не какими попало, но лишь общими и существенными ее признаками. Однако, поскольку демократия есть реальность, ее сущность, естественно, не исчерпывается этими общими и существенными признаками. Я хочу сказать, что сущность демократии, как явления, много богаче ее содержания, как понятия. Собственно говоря, именно эта сущность главным образом и интересна. И заниматься определением, конечно, не было бы душой, если бы демократы не вкладывали в него удобного им в целях политической борьбы содержания.

Ясно также и то, что облик демократии зависит от культурного состояния общества, от господствующих в обществе идей и от многих других обстоятельств. В этом смысле демократия, как, впрочем, и всякая другая организация человеческого общежития, не может пребывать в неизменности и всегда таит в себе не только сущее, но и должное, не только содеянное, но и находящееся в исполнении и даже в замысле. Поэтому может показаться на первый взгляд, что демократию определяет не только реализованное, но также и задуманное. Отсюда, естественно, возникает соблазн ввести в определение демократии все связанные с нею надежды... К тому же, такой прием определения весьма полезен: указать цель, обойдя молчанием способы ее достижения, — это ли не показать товар лицом! Но такой прием определения порочен в самой своей основе: претым указанием цели нельзя определить чего-либо эмпирически данного, не говоря уже о том, что определение, подчинившись требованиям политики, утрачивает тем самым свою теоретическую ценность. Какой прок, например, в таком определении: «Демократия — динамический идеал, цель которого — свобода, в ее общественном аспекте»? Ведь к этому идеалу способна стремиться не одна только демократия. Или же в таком: демократия, это — «прежде всего, философское и моральное мировоззрение, основанное на принципах свободы, равноправия, права и братства в политической и экономической области... Если эти идеи плохи, тогда — и только тогда — не годится и демократия»? При чем тут демократия? Таким философским и моральным мировоззрением может вдохновляться не только лишь она одна. Все эти идеи, конечно, совсем не плохи. И, однако, про демократию того же самого сказать нельзя, тем более теперь. Недаром же и вопрос ставится: годится или не годится демократия?

Определяя демократию, конечно, вполне допустимо говорить о ее назначении. Однако, не у всех демократий одинаковые цели. Поэтому может получиться определение не демократии вообще, а всего лишь одного из ее видов: демократии либеральной, социалистической, или какой-либо другой. На практике у демократов почти всегда так и получается. Но главная беда таких определений, конечно, не в этом. Указывая цель демократии, можно говорить лишь о том, что осуществляется демократией на самом деле, а не только в воображении. Определение демократии, как и всякое определение, нуждается в защите: необходимо показать, что цель демократии не утопична, и что демократия действительно ведет к ней. Я имею в виду, конечно, не те высшие и практически недостижимые цели, которые осмысливают земное существование человека, вдохновляют его на творчество, оправдывают его жертвы. Я говорю лишь о целях, которые преподносятся демократами в качестве того, что уже реализовано в демократии, иными словами, преподносятся в виде целей, осуществленных демократией в полной мере: демократия, «это — прежде всего свобода жизни, свобода исканий, свобода состязания мнений и систем; это — равенство всех перед законом, общность и взаимность развития...» Всегда и всюду демократы отождествляют демократию со свободой: демократия, это — свобода! Свобода, бесспорно, является главным козырем в руках у демократов и, нужно

признаться, кзырем очень веским. Но способна ли демократия дать людям свободу? И если способна, то в какой мере, вернее, что представляет собой та свобода, которую несет людям демократия?

«Свобода, в ее общественном аспекте», это, если можно так выразиться, — возможность подчинения самому себе при решении дел и при их исполнении. Такая возможность, очевидно, не противоречит добровольному подчинению другим. Вообще, власть не исключает свободы, если осознана подвластными как благо. Если это действительно так, то можно ли назвать рабами тех, кто в порядке внутреннего своего убеждения, а не насильственного вмешательства извне, принял над собой власть одного, — вождя или монарха, — а не власть большинства? Думаю, что для них свобода, именно, и состоит в подчинении этому одному, — вождю или монарху. Принудительно навязанная демократия может оказаться для них тюрьмой, разумеется, пока воля большинства не представляется им критерием истины. Думаю также, что в современных диктатурах, столь непонятных и ненавистных демократам, есть много того, что рождено порывом к свободе и действительно дает свободу, но что поверхностному или предубежденному взору может показаться всего лишь выражением рабства. Демократы не видят разницы между веригами и кандалами и не знают, что вериги, это — символ свободы. Там, где нет принуждения, насилия, где подчинение основано на чувстве долга, на доброй воле подвластных, там рабства нет.

История России не знает ни одного народного восстания, которое было бы направлено против царской власти. В 1613 году Россия подтвердила свое монархическое сознание добровольным приятием власти первого Романова. Восстание Пугачева вдохновлялось защитой поправных прав законного царя. Даже декабристам, и тем пришлось в их борьбе против монархии прикрыться монархической личиной. И до самого последнего времени пропаганда, которую вели против монархии наши революционеры, как правило, не имела успеха в народе. Не свидетельствует ли это о былой преданности русского народа царской власти, о былой глубине и силе его монархических переживаний, и еще о том, что русская монархия, конечно, не в качестве административного, социального или экономического своего устройства, но именно как монархия, как верховная власть законного царя, служила выражением не гнета, а свободы? В стране, где народное сознание требует монархии, какую свободу может дать демократия? В лучшем случае, свободу призвания монарха, — не больше! Любить человека, уважать его чувство и мысль, его достоинство и честь надо не только тогда, когда он демократ, но — всегда. Незачем говорить о самоопределении, если понижать под ним демократическое самоутверждение. Признание абсолютной ценности человеческой личности теряет всякий смысл, когда в человеке начинают видеть только лишь демократа. Забота о свободе человека не равносильна заботе о демократии. Это, прежде всего, — забота о самом человеке и в зависимости от того, что ему нужно, забота, быть может, и о монархии. Знаю, — демократы мыслят демократию именно тем, что как раз и нужно культурному человеку. Их уверенность в этом настоль-

ко велика, что становится подчас забавной. Демократия превращается у них в цель самодовлеющую, более важную, чем забота о свободе человека, о самом человеке: «Не может быть и мысли, — пишет один из них, — о допущении демократической борьбы против демократии... Демократия и может, и должна быть демократией для демократов... Демократия обязана защищать не только свободу мнения, но и власть свободы. Если эта власть не защитима словом, то ее надо защищать мечем». Однако, дело совсем не в том, хороша демократия или нет. Интересно другое: можно ли утверждать, что демократия, это — свобода? Думаю, что ответ ясен: нет, нельзя! Ведь приняв эту формулу, мы пришли бы, пожалуй, к заключению, что русская монархия почти до самых последних дней своего существования была не монархией, а демократией...

Чтобы избавиться от подобного рода недоразумений, нелепость которых очевидна, необходимо, прежде всего, отказаться от расплывчатого и туманного отождествления демократии со свободой. Необходимо привыкнуть к более ясным и точным определениям и не страшиться того, что эти определения окажутся прозаическими, лишенными притягательной силы. Меня могут упрекнуть за чрезмерную отвлеченность мысли. Но определение демократии я пытаюсь получить на основании главным образом того, что было и что есть, предпочитая историческую демократию теоретической, факты идеологиям. Отрицать значение идей я не собираюсь, но думаю, что для реального определения демократии осуществленное или даже осуществимое гораздо важнее неосуществленного и, тем более, неосуществимого.

Когда демократы, ссылаясь на исторические примеры, утверждают, что демократия если не всегда, то почти всегда вдохновлялась жаждой свободы и в достаточной мере ее утоляла, то возражать против этого я, собственно, и не собираюсь. Ибо думаю, что в среде, где господствует демократическое сознание, демократия, по всей вероятности, и необходима, и даже единственно возможна, и, конечно, выражает то состояние, которое действительно можно назвать свободой. Но ведь не так понимают свободу демократы! Мое толкование представляется им, знаю, нелепым. Потому они и могут называть демократию свободой, что под свободой понимают нечто совсем иное. Что же именно?

Это хорошо всем известно: обеспечение прав личности. Демократы не отрицают того, что объем этих прав зависит от правосознания личности и, поэтому, может меняться. Но в их представлении существует, так сказать, нижний правовой предел не только для проявлений публичной власти, но и для правосознания самой же личности. Переступать через этот предел правосознание личности не может. Ибо отказавшись от своих элементарных прав, хотя бы и добровольно, в соответствии со своим мировоззрением, личность утрачивает самое ценное, что только может иметь, как бы перестает быть личностью. Ведь права личности, это — ее свобода, а свобода для личности, это — все, иными словами, свобода неотделима от личности.

С таким пониманием свободы трудно согласиться. Формальная свобода выражает не действительное состояние подлинной личности,

— ни ее совесть или умонастроение, ни ее волю или то, что она по-настоящему может осуществить, — но всего лишь ее правовое положение. Спешу оговориться, — я не против формальной свободы. Она в моем представлении составляет великое достижение человеческого духа, ибо является необходимой основой, по крайней мере в наше время, для свободы подлинной, реальной. Но одной формальной свободы далеко еще не достаточно. Обладая одной только формальной свободой, человек может и не быть свободным по существу дела. Больше того, даже в том случае, когда формальная свобода вполне удовлетворяет правосознание человека, эта свобода может оказаться причиной его порабощения, и человек, в поисках настоящей свободы, способен будет, разуверившись в благотворности свободы формальной, отказаться от нее совсем: настроение весьма знакомое некоторым из социалистов. Я высоко ценю эту формальную свободу, но вижу в ней лишь способ для достижения свободы истинной, свободы не только как права, но и как действительной возможности осуществлять это право. Свобода формальная не есть цель, а всегда лишь средство по отношению к свободе реальной и, без сомнения, бывают моменты, когда люди не нуждаются в таком средстве, не пользуются им, и не утрачивают вместе с тем настоящей своей свободы. Поэтому я и признаю свободным того, кто отказывается от своих прав сам, в соответствии с внутренним своим убеждением, повинаясь велению своей совести. Именно такое состояние личности характерно для монархиста старой России.

Если отвлечься от мысли, что удовлетворенное правосознание, вернее — добровольное принятие существующего порядка, выражает обычно свободное состояние личности, независимо от ее правового положения, то вопрос — какова та свобода, которую всегда и везде несет людям демократия, — нуждается еще в разрешении хотя бы и с точки зрения чисто формальной. При этом, конечно, не столь важно, на что люди надеются, — важно по преимуществу то, что они получают. Кроме того, нельзя принимать в расчет все те проявления свободы, которые либо не составляют обязательной принадлежности самой демократии, либо легко могут уживаться также и с другими видами государственного устройства.

Так, признаком, наиболее характерным для античной демократии, служит не личная свобода граждан, а их участие в управлении государством, другими словами, их свобода политическая: возможность принимать участие в обсуждении и решении государственных дел, выбирать и быть выбранным на различные административные или судебные должности. Власть же государства над личностью и имуществом граждан никаких ограничений не имела, и не только фактически, но и в принципе. Такое положение вещей, надо думать, вполне соответствовало правовым переживаниям рядового античного человека.

Когда правосознание европейца потребовало обеспечения человеку личной свободы, духовной и материальной, то демократия, действительно, не только сумела уловить это настроение, но и в достаточной мере удовлетворила его. Собственно говоря, потребность в освобождении от государственной опеки появилась в Европе за-

долго до первой попытки во время великой французской революции осуществить демократию и, надо сказать, что свобода поначалу относилась к демократии с явным недоверием и поручила ей заботу о себе далеко не сразу. Но европейская мысль той эпохи, находясь во власти рационалистических учений о естественном праве и общественном договоре, неизменно должна была связать, в конце концов, свободу, как наиболее желанное в те времена состояние личности, с понятием народного суверенитета, как наиболее последовательным выводом из теории общественного договора. И надо отдать справедливость, что такая связь не лишена практического значения: демократия, действительно, весьма чутко отзывается на то, что обыкновенно называют общественным мнением. Поэтому и успех политической деятельности в условиях демократии зависит по преимуществу от искусства владеть над чувствами и разумом массового человека.

Рабство не только не противоречило мировоззрению античного человека, но и оправдывалось даже наиболее выдающимися умами античного мира. И античная демократия была рабовладельческой. Общественное мнение Соединенных Штатов Америки сравнительно еще недавно если не оправдывало рабства, то, во всяком случае, мирилось с ним. И великая американская демократия вплоть до 1865 года была, как и античная демократия, рабовладельческой. В Соединенных Штатах Америки еще и теперь считают чернокожих людьми низшего порядка. И положение чернокожих в великой американской демократии вполне соответствует такому на них взгляду со стороны белого большинства: они пользуются свободой в весьма урезанных размерах. Сознание современного культурного человека вполне удовлетворено существованием колоний и тем положением, какое они занимают по отношению к своим метрополиям. И современные демократии в колониальных своих делах ровно ничем не отличаются от рухнувших монархий и от возникших диктатур.

Далее необходимо указать, что признание прав личности на свободу от власти исторически совпадает не с появлением в новое время демократии, а с учреждением в монархии народного представительства или, если угодно, с демократизацией монархии. При этом, если воздержаться от чрезмерного рационализования общественных явлений, то необходимо будет признать, что учреждение народного представительства совсем не обращало, да и не обязано было обращать, монархию в демократию. Больше того, в наше время монархия без народного представительства даже и не мыслима: народного представительства требует не только правосознание современного монархиста, но и сама жизнь со всей сложностью выдвинутой ею социальных и национальных задач. Кстати, мысль о необходимости единения царя с народом никогда не угасала у нас в России ни в сознании передовых сторонников монархии, ни, что главное, в сознании самого народа. Как бы то ни было, а народное представительство, даже в качестве производного государственного органа, не обращает монархию в демократию, если только монарх не становится при этом подчиненным органом государства. Конечно, можно отрицать идею смешанного государственного устройства, или

идею так называемой конституционной монархии, утверждая, например, единство и неделимость верховной власти. Это — вопрос другой. Но никак нельзя назвать демократией такое государство, в котором правосознание народа считает монарха непронизывным от народной воли источником власти, хотя бы и с весьма узкой и даже имеющей чисто символическое значение областью действия. Так, при всем желании, нельзя Англию XVIII века назвать демократией. А вместе с тем Англия, и именно в XVIII веке, другими словами, ранее, чем где бы то ни было и задолго до появления на свет первой из ныне существующих демократий, признала необходимым и сумела обеспечить своим гражданам весьма широкие права на свободу от вмешательства государственной власти. Вообще, распространение либеральных настроений, определившихся с достаточной очевидностью еще в середине XVII века, и выразившихся в стремлении личности к индивидуальной свободе, к приобретению прав на независимость от публичной власти, теоретически неотожждественно и практически не совпадало с борьбой, так сказать, возникающей демократии, как грядущих форм государственного устройства, с угасающей, но упорствующей монархией. Освобождение личности от государственной опеки, исторически, это — неизбежный ответ монархии на те сдвиги в общественном правосознании, которые были бы определяющим обстоятельством также и для поведения демократии. Этот ответ, конечно, давался не сразу и, опаздывая, служил иногда причиной смут и революций. С другой стороны, необходимо заметить, что в основу молодой демократии, естественно, должны были лечь именно те самые идеи, за которые люди боролись при ее установлении. Думаю, что эта участь постигла бы и всякий другой государственный строй, окажись он в таком же положении. Нельзя забывать, что кодекс Наполеона был, ведь, кодексом императора Французской Империи. В наше время демократия испытывает еще худшие невзгоды, чем монархия, когда уступала свое место демократии. В наше время демократия оказывается совершенно бессильной дать людям то, что им нужно, и что во многих странах пытается дать им диктатура, пусть жестокая, вероломная, изуверская, но в какой-то мере более отвечающая, чем демократия, назревшей в людях тоске по единству, решительности и беспристрастности государственного управления.

У меня нет ни малейшего намерения заниматься оправданием западных монархий ни абсолютных, ни конституционных, хотя я и думаю, что они, как и западные демократии, в какой-то мере и в какие-то моменты своего существования соответствовали народному правосознанию и в этом отношении были необходимы и даже полезны. Я хочу лишь показать, что личная свобода граждан не является существенным признаком демократии. Идея правового государства была одинаково доступна как демократии, так и монархии. Одинаково доступна и в первоначальном своем виде, когда обеспечение личной свободы граждан считали единственным назначением государства, и в современном своем понимании, когда за государством признали обязанность активного участия в культурном творчестве народа и стали называть государство правовым не по целям, а по

способам его деятельности (существование правовых форм и правовых пределов для проявлений государственной власти). Я даже думаю, что в государстве монархическом эта идея способна найти более сочное и плодотворное свое воплощение, чем при демократии. Ибо при демократии, с одной стороны, исполнительная или управительная власть почти неотделима от власти законодательной, а с другой, само законодательство почти неизбежно подчинено частным интересам правящего большинства или даже правящего меньшинства и не сдерживается живой человеческой совестью.

Одним словом, из сопоставления всевозможных демократий, как существовавших прежде, так и существующих ныне, в качестве общего им всем признака, подчиняющегося понятию свободы, можно найти лишь свободу политическую, определяемую правами граждан на участие во власти. Однако, и в монархиях, допускающих более или менее широкое самоуправление народа, население обладает тоже некоторой мерой политических прав. Поэтому, мне кажется, было бы полезным уточнить смысл той политической свободы, которую предоставляет людям демократия: это — свобода на участие во власти верховной. Без такой свободы демократии нет. Всякий же другой вид свободы для демократии совсем не обязателен, не является для демократии сколько-нибудь существенным признаком.

Само собою разумеется, что одно лишь понятие политической свободы, даже в указанном выше смысле, не определяет еще демократии. Демократия, конечно, это — не просто власть всех, власть народа, народовластие. Идеал демократии предполагает не одно лишь всеобщее участие в образовании верховной власти, но также и равноценность всех тех отдельных индивидуальных волей, из которых слагается так называемая воля народа. Иными словами, идея народовластия неотделима от мысли о политическом равенстве всех граждан. И на практике демократия всегда состояла не просто в распылении, но именно в распределении верховной власти приблизительно поровну между более или менее широкими массами народа. Таким образом, демократию можно было бы определить следующими признаками: обобществление верховной власти без сколько-нибудь значительного остатка и политическое равенство граждан. Естественно, что эти положения никогда и нигде не осуществлялись полностью. Для демократии характерно лишь принципиальное к ним на деле. Утверждая это, я отдаю себе отчет в том, что помлюсь, как говорит русская поговорка, в открытые двери, открытые настежь еще со времен Платона. Но что поделаешь, если современные защитники демократии стараются наперебой разукрасить ее всем самым лучшим, что только они знают: если либералы пытаются изобразить демократию, как царство подлинной свободы; социалисты — как торжество истинной справедливости; религиозно настроенные демократы — как воплощение в политической жизни начала соборности, как народ, властвующий милостью Божией; наконец, если только редкие из демократов находят в себе мужество прямо заявить, что при демократии правда подчинена воле большинства или, другими словами, что демократия представляет собой такую «форму» государственного устрой-

ства, которая способна наполниться, в зависимости от преобладающих в народе настроений, любым «содержанием».

Я знаю, что чисто формальное определение демократии многим не по душе. Им хотелось бы указать те моменты человеческого сознания, которые служат истинной основой для демократии, и которые определяют ее как бы изнутри, вскрывая ее настоящую природу. Без сомнения, такая постановка вопроса имеет первенствующее значение. И я уже говорил, что демократия, как некоторая реальность, бесконечно шире и глубже ее определения, которое, именно как определение, всегда формально. И однако, наличие указанных мною при определении демократии признаков вполне достаточно, чтобы можно было утверждать бытие самой настоящей демократии, конечно, в том смысле этого слова, который издавна усвоен и наукой, и обыденной жизнью. С другой стороны, там, где отсутствует хоть один из этих признаков, нет и демократии. А если дело обстоит так, то и указанное мною определение вполне верно, — не слишком узко и, что главное, не слишком широко.

Упрекая демократов за смешение или сущего с ожидаемым, того, что есть, с тем, чего им хочется, я не намерен повторять их ошибки и без смущения принимаю их определение монархии: под монархией надо понимать такое государственное устройство, при котором верховная власть в наиболее существенных своих проявлениях принадлежит одному человеку — монарху. Иными словами, на монарха в монархии, как и на народ в демократии, возложены, именно, высшие функции властвования: забота об основных моментах политической жизни государства, защита интересов всего народа, как исторического целого. Таким образом, монархию характеризует то обстоятельство, что монарх является непронизодным государственным органом, которому вверено если не управление, то, во всяком случае, правление государством; управление же государством может принадлежать самому народу. Кроме того, ясно, что монархия предполагает некоторый независимый от воли подданных порядок престолонаследия. Выборного монарха быть не может: педь смысл всяких выборов состоит в главенстве выбирающих над выбираемым. Монархия может быть только наследственной. Так это всегда и было.

Вводя понятие верховной власти в определение демократии или монархии, я имею в виду не столько ту реальность, которую это понятие подразумевает, сколько, именно, само это понятие, как известное представление, участвующее в правовых переживаниях человека, направленных на политическую организацию государства. В таком своем виде понятие верховной власти обладает большой простотой и ясностью. Оно поэтому очень удобно. Необходимо заметить, что на практике, в качестве категории человеческого правосознания, это понятие легко уживается не только с мыслью о распределении верховной власти между различными государственными органами, но также и с мыслью о полном ее распылении между всеми

участниками общежития, что наглядно подтверждается фактом существования демократических настроений в их обыденном виде. Короче говоря, признак неделимости для понятия верховной власти совсем не обязателен, хотя многие и утверждают как раз обратное. Этот признак характеризуют скорее те ценности, которых должны служить прежде всего сами же носители верховной власти. Поэтому, и применении к личным переживаниям человека вполне уместно говорить и о демократической монархии, и о монархической демократии, и еще о том, что различие между этими двумя видами государственного устройства определяется выражающим народное правосознание порядком распределения главных и зачастую неуловимых для закона функций верховной власти. Если же перейти из мира всегда формальных правовых представлений человека в мир социальной действительности, то явление верховной власти окажется настолько сложным, и не только в демократии, но и в монархии, что вопрос об истинном составе властвующих и подчиняющихся вряд ли сможет когда-либо получить вполне исчерпывающее и свободное от тех или иных догматических предпосылок разрешение. Однако, и тут ясно одно: мысль о точно установленном и обязательно едином носителе верховной власти, как это показывает опыт, по меньшей мере искусственна. Понятие верховной власти бесконечно проще и яснее, чем та реальность, которая за ним скрывается. И в этом смысле, понятие верховной власти формально, схематично и в достаточной степени условно.

В самом деле, что такое, например, воля народа? Если это — одинаковая воля всех, то сомнений, как будто, не возникает. Но если это — одинаковая воля большинства, то как можно называть ее волей народа? При условии, что каждый гражданин есть носитель неделимой и для всех граждан одинаковой доли верховной власти, при абсолютной ценности и равноценности отдельных человеческих волей, как можно большинство предпочитать меньшинству, каким образом от качества можно перейти к количеству, и каким образом количество может подчинить себе качество, или, еще непонятнее, создать качество: каким образом подсчет голосов может определить волю народа? Тут, конечно, — явная условность. Надо полагать — мистика числа или силы... Но при чем тогда абсолютная ценность человеческой личности? Так или иначе, но мысль о воле народа, как некоторой реальности, становится до крайности туманной; уж не призрак ли эта воля народа?

Однако, демократическое сознание знает ответ на все поставленные мною вопросы: это — компромисс! Каждый желает победы своему собственному мнению, но заранее согласен добровольно подчиниться решению большинства. В результате, воля большинства оказывается волею всех, волею народа... Тут — явное недоразумение. Я и не думал отрицать реальности демократического правосознания. Это правосознание не только существует на деле, но и вполне мне понятно. Но ведь не о нем идет речь. Когда говорят о воле человека, то понимают под ней, конечно, его собственную волю, а не какую-либо другую волю, которой он подчиняется, хотя бы и вполне охотно.

Добровольность подчинения не отождествляет волю соглашающихся с волей решающих. В тех случаях, когда монархия вполне соответствует народному мировоззрению, когда воля монарха для народа свята, можно ли говорить, что эта воля есть воля самого народа? Конечно можно, но в весьма и весьма условном смысле, имеющем в виду, например, духовное единство монарха и народа, их монархическое сознание... Также и добровольное согласие меньшинства с волею большинства не превращает эту волю в волю всех, в волю народа. Воля народа, это — не воля всех, а воля большинства. Воля меньшинства в ней не участвует. Участвует лишь согласие меньшинства, в лучшем случае, воля на согласие или согласие добровольное. Вот почему я и говорил, что воля народа — условность, что на деле, как некоторая реальность, она представляет собой нечто иное, чем наше обычное о ней представление.

Условность понятия народной воли станет еще очевиднее, если принять во внимание фактическое неравенство людей и различных общественных групп, одним словом, подлинную социальную структуру общества. Идея народной воли основана, как я уже говорил, на мысли о политической равноценности граждан и, следовательно, на мысли об их одинаковом участии в отыскании воли народа. На практике так оно и бывает: поданные голоса считаются обыкновенно вполне равноценными и дело решается лишь их подсчетом. Всякое уклонение от такого порядка неминуемо вызывает сомнение в подлинности полученных при голосовании результатов: выражают ли эти результаты истинную волю народа. Всеобщее, равное голосование и воля народа неотделимы друг от друга: для демократического сознания это — одно и то же. Демократия, хотя бы самая что ни на есть авторитарная, никогда не уйдет от всеобщего и равного голосования, ибо в нем вся сущность демократии. Демократия, отказавшись от всеобщего и равного голосования, попросту перестанет быть демократией. И вот, если воля народа познается при помощи всеобщего и равного голосования, то спрашивается, чем определяется в условиях практической жизни воля отдельных граждан? Я согласен, что при формальном отношении к делу, столь характерном для демократов, вопрос этот не заслуживает особого внимания. Пусть некоторое меньшинство, какими-либо путями, — не все ли равно какими? — умеет навязывать свою волю массам: всеобщее и равное голосование не утрачивает от этого своего смысла, ибо принципы политической свободы и политического равенства этим не нарушаются. И однако, сознание, что воля народа — пусть даже она будет волею всех — выражает, по существу, лишь волю немногих, умеющих создавать нужное им общественное мнение хорошо известными еще с древних времен приемами, может быть и верными, но в достаточной степени порочными, такое сознание только усиливает сомнение в безусловном значении демократической верховной власти. И это сомнение возрастает, когда замечаешь, что воля народа, получаемая демократическими приемами, как правило, выражает не величие народного духа, не идеалы народа, не его мораль, не его подлинное правосознание, иными словами, не то, что Руссо называл «общей волей», а скорее — мимолетные настроения народных масс,

их низменные страсти, разжигаемые теми, кому это выгодно, эгоизм народа, его пошлость, его убожество... Спрашивается, почему, собственно, результаты демократического подсчета голосов называются волей народа? Тут, разумеется, много условного.

Понятие верховной власти гораздо менее условно в применении к монархии, чем к демократии. Воля одного человека, это — вполне определенное явление. Она не знает того распада на большинство и меньшинство, которое лишает волю народа ее точного смысла. С другой стороны, если воля монарха и не может быть защищена вполне от различных зловредных на нее влияний, то обычно она подвержена этим влияниям несравнимо в меньшей мере, чем воля народа: постоянство морального и идейного содержания и, вообще, традиционность монархической верховной власти исторически подтверждены с достаточной очевидностью.

Рассуждая о верховной власти, необходимо еще заметить, что она должна всегда в какой-то мере удовлетворять правосознанию своих подданных. Надо полагать, что так обыкновенно и бывает, и верховная власть, будь то власть всех или же одного, не столько вынуждает подчинение у своих подданных, сколько сама держится на нем. В частности, монархии необходимо, прежде всего, монархическое правосознание народа... Считаю нужным оговориться: такое утверждение не предполагает демократии, хотя бы даже и в скрытом виде. Ибо наши представления о должном не зависят от нашей воли, не подчинены нашему хотению. Мы не умеем менять их произвольно, по собственному своему усмотрению. Наша совесть составляет сравнительно прочное начало нашего духа. Мы вольны противиться или следовать ее указаниям, но она сама нам не подвластна. В этом смысле правосознание народа не тождественно, не равносильно и не равноценно его воле. И санкция народного правосознания необходима любой верховной власти, как в демократии, так и в монархии.

Может показаться, что в этих словах звучит мотив общественного договора. Однако, такое впечатление было бы ложным. Ведь правосознание народа в каждый отдельный момент его существования, это — последний итог в бесконечно долгом историческом процессе его культурного развития, последний итог всеобщего совместного как стихийного, так и сознательного творчества, развивающегося не только под напором собственных жизненных сил народа, но и под непрестанным воздействием извне. Это — не одинаковое правосознание обособленных от окружающего их мира, замкнутых в себе, самодовлеющих индивидов, утверждающих организацию своей совместной жизни в порядке самостоятельного уразумения своей собственной природы. В рационалистической схеме общественного договора личность человека может участвовать только лишь в качестве высшего основания, определяющего собой всю конструкцию человеческого общежития, — в качестве атома общественного механизма. В утверждении же, что санкция народного правосознания необходима любой верховной власти, нет намерения, даже скрытого, логически обосновать идею верховной власти, опираясь на понятие о свободном самоопределении личности. Тем более нет намерения указать эмпирический путь возникновения государственной ор-

ганизации. Это утверждение указывает только на необходимость духовного единства верховной власти и народа.



Если отбросить все различия чисто формального порядка, то спрашивается, в чем, собственно, состоит различие по существу между двумя видами правосознания, демократическим и монархическим? Однако, задавая такой вопрос, необходимо помнить, что отношение между отдельной личностью и верховной властью в монархии и в демократии почти одно и то же. Обычное мнение, что в демократии человек не только подчиняется, но и властвует, и даже прежде всего властвует, а потом уже подчиняется, — ложно. В демократии, как и в монархии, по существу дела, человек неизмеримо больше подчиняется, чем властвует. Его реальное значение, как гражданина, неизмеримо меньше того значения, какое он имеет в качестве подданного, и настолько меньше, насколько он ничтожнее всего народа. Практическое значение отдельной человеческой воли в демократии приближается к нулю. С другой стороны, идейное влияние на общественное мнение — удел очень немногих. Но идейное влияние на волю верховной власти возможно и в монархии. Я не говорю уже о том, что воля народа легко подвержена не одной только идейной обработке, и что она легко становится добычей тех, кто знает ее слабости и в силах пользоваться ими. А вместе с тем, такое обстоятельство роняет почти окончательно политическое значение рядового гражданина. Когда его воля совпадает с волею большинства, ему может казаться как раз обратное, — что воля его торжествует, что политическая ценность его велика, что он чуть ли не сам находится у власти: приятный самообман! Воля подданного может совпадать с волею верховной власти не только в демократии, но и в монархии. Один голос не может изменить результатов всеобщего голосования. Там, где участвуют во власти все, воля одного не имеет силы. И это не зависит от того, совпадает ли она с господствующей волей или же нет. В первом случае — удача, во втором — неудача, но всегда — необходимость подчинения большинству. Именно поэтому, в правосознании человека, не только монархиста, но и демократа, наибольший интерес представляет момент, определяющий согласие на подчинение, а не потребность на участие во власти. Я знаю, что в демократическом сознании, если не всегда, то в большинстве случаев, наблюдается как раз обратное явление, и мысль о власти вытесняет мысль о подчинении, гражданин заслоняет собой подданного, другими словами, определяющим моментом оказывается активное начало, — желание повелевать, а не смирение перед волею большинства. Однако, такое настроение не соответствует в демократии реальному положению вещей. Вот почему при сравнении демократии с монархией безусловно основное значение приобретает вопрос: как объяснить, что в одном случае человек охотно склоняется перед итогами всеобщего голосования, а в другом — признает над собой лишь власть своего монарха?

Само собою разумеется, не следует искать ответа на этот во-

прос среди всевозможных теорий или так называемых идеологий, поучающих на разные лады о природе и назначении человеческого общежития. Впрочем, по всей вероятности, все эти теории и идеологии, поскольку они удовлетворяли или удовлетворяют то или иное политическое направление, должны содержать в себе нечто такое, что для него более или менее характерно, не только внешне, но и по сути дела. Так, например, индивидуалистическая естественно-правовая теория общественного договора, хотя и служила по началу рациональным обоснованием монархии, но уже тогда наделила основным признаком всякой верховной власти, — непроизводностью, а то и просто суверенитетом, — не монарха, а народ, и, таким образом, по существу, таила в себе демократическое начало, низводя монархию до ранга, так сказать, наследственной диктатуры. Вместе с тем, идея общественного договора, если не в порядке толкования истории, то в качестве уразумения идеального смысла государственной организации, живет в демократическом сознании еще и поныне, просуществовав, таким образом, уже около трех столетий. Не лишено интереса и то обстоятельство, что теоретическое обоснование индивидуализма и понятие естественного права появились впервые у софистов, и что настоящим родоначальником теории общественного договора был Эпикур. Индивидуализм совершенно неизбежно ведет и приводит к атомистическому пониманию общества и, в конечном счете, к демократии. Если «человек есть мера всех вещей», то положительные мораль и право, конечно, для него не обязательны: у него — свои, естественные законы. Зависимость от других обременительна, но неустраима: единственное утешение, это — мысль о том, что общество получается в результате разумного соглашения всех ради выгоды каждого. Этим путем, указанным древними греками, двигалась и европейская мысль XVII и XVIII веков. Великая французская революция явилась апофеозом идеи общественного договора. Примерно с середины XIX века научная мысль отказывается от индивидуалистического понимания человеческих взаимоотношений. Однако, на практике, индивидуализм от этого не умирает: личность продолжает считать себя «мерой всех вещей». Исторически, индивидуализм не только в теории, как определенная доктрина, но и в жизни, как некоторое состояние человеческого духа, тесно связан с демократическим строением, с демократической мыслью, с демократией. Поэтому, можно предположить, что индивидуализм с его атомистическим пониманием общества и государства более свойственен сознанию демократическому, чем монархическому. Коллективизм, в том своем виде, в каком он до сих пор был известен социализму, так же атомистичен, как и индивидуализм. По существу, коллективизм и индивидуализм, это — противоположные стороны одного и того же естества: эгонистического человеческого самоутверждения, в одном случае индивидуального, а в другом — коллективного. В обоих случаях общество, это — всего только арифметическая сумма или же механическое соединение человеческих особей. Интересно отметить, что до сих пор социализм, как правило, тяготел к демократии.

Возвращаясь к предложенному выше вопросу, считаю необходи-

мым заметить, что не следует, повинувшись голосу своих чувств, искать на него ответа среди тех различных состояний человеческого духа, которые на практике всего лишь случайно встречаются с демократическим или же монархическим сознанием. Кроме того, хотелось бы отвлечься от того неоспоримого обстоятельства, согласно которому приверженность человека к тем или иным формам государственного устройства определяется, если можно так выразиться, силою инерции преобладающего в народе сознания, — в порядке, так сказать, безотчетной привычки. С другой стороны, ясно, что одного лишь умозрения для ответа на такой вопрос совсем не достаточно. Было бы интересно проследить и уразуметь те направления человеческого духа, которые всегда и везде неизменно сопутствуют исторической демократии или монархии, составляя в то же время внутреннее различие этих двух видов государственного устройства. Не рассчитывая на свои собственные силы в выполнении столь сложной задачи, я хотел бы, все-таки, указать на те обобщения, которые представляются мне не лишенными интереса в занимающем нас вопросе. При этом, я не отказываюсь от мысли о единственности и неповторимости исторического процесса, но думаю, вместе с тем, что некоторые изначальные моменты нашего сознания участвуют постоянно в исторической жизни человечества и, то усиливаясь, то вновь ослабевая, определяют, сочетаясь по-разному друг с другом, и характер наших представлений о должном, и, косвенно, характер наших политических переживаний в обыденной жизни и даже в научном творчестве. Вот именно их, эти моменты человеческого сознания, мне и хотелось бы уловить в качестве ответа на поставленный выше вопрос.

Если отрешиться от мысли, что насилие способно служить единственной и постоянной опорой для верховной власти, то подчинение целого народа одному человеку, и не вождю, обладающему всеми нужными для этого качествами, а монарху, получившему власть по наследству, может быть истолковано не иначе, как обстоятельство, которое сложилось во имя того, что представляется народу самым высшим и ценным. Во всех восточных монархиях, древних и даже современных, воля монарха, какова бы она ни была, — божественна и, в силу этого, верховна. Во всех христианских монархиях воля монарха, это — опора христианской морали, и если «несть власти аще не от Бога», то, с другой стороны, «аще ли же есть царь, над человеками царствующа, над собою же имать царствующа скверни страсти и грехи, сребролюбие же и гнев, лукавство и неправду, гордость и ярость, злейши всех неверие и хулу, таковой царь не Божий слуга, но диявола, и не царь, но мучитель. И ти убо таково царя или князя да не послушаеши...» (Иосиф Волоцкий). Может показаться, что некоторое исключение составляют западные европейские монархии. Но абсолютизация и, одновременно, секуляризация монаршей власти, надо полагать, были не столько достоянием народного сознания, сколько продуктом рационалистических учений. Однако, я уже говорил, что теоретический облик монархии общественного договора, по существу, мало похож на то, что представляет собой монархия на самом деле. Таким образом, свидетель-

ство истории подтверждает мысль, что в основе всякой монархии, поскольку она удовлетворяет народному правосознанию, лежит всеобщее духовное единство: единство веры, единство в понимании высшего начала жизни, а также всеобщая готовность на подчинение этому началу, на служение ему. Одним словом, внутреннюю сущность монархии можно определить, как господство идеи долга по отношению к исторически определенным духовным ценностям своего народа. Думаю, что связь монархии с этой идеей в достаточной мере взаимна, и что всеобщее духовное единство благоприятствует единовластию, как наиболее целесообразному порядку всеобщего служения. Во всяком случае, историческая связь этой идеи с единовластием, в особенности с монархией, очевидна, и, надо полагать, не случайна.

Монархию характеризует еще один весьма существенный момент. Это — всеобщее признание особых качеств и прав личности самого монарха, — признание верховного значения его воли, имени его, а не кого-либо другого. Демократическому сознанию такого рода переживания не доступны. Если отбросить мысль о божественном происхождении или божественной делегации монарха, то в самом общем виде их можно понять, как власть прошлого над человеком. Сила и облагораживающее значение этой власти достаточно известны. Нужно ли говорить о том, что славное прошлое своего рода обязывает и возвышает человека, и тем повелительнее, чем оно славнее, и не только в представлении других, но и на самом деле? Это прекрасно сознавали многие из тех, кто в силу случая или же благодаря личным своим доблестям когда-либо возносился к власти. Нужно ли еще говорить о том, что прошлое своего народа, отечественная история, — не вздор, как думали и продолжают думать очень и очень многие? Большевики, принципиально отрекавшиеся от всего, что было до них, от всякого родства, и те на горьком опыте своего властвования начинают постепенно осознать это свое заблуждение: человек «без роду и племени» всегда — наиболее устойчивый элемент в человеческом общежитии. Монархия не может возникнуть сразу. Она — творение всегда долгого исторического прошлого. Тем, кто борется против монархии, надо бы это помнить. Борьба против монархии неминуемо сопряжена, в какой-то мере, с отрицанием тех духовных ценностей, которыми жили ушедшие в могилу предки. А отрыв от прошлого, поскольку он возможен, опустошает, ополщивает жизнь...

Соблазн требовать от монарха качеств вождя велик, но основан на недоразумении, я бы сказал, на полном непонимании смысла верховной власти. Что делает верховная власть в демократии, — что делает сам народ? Редко и даже очень редко он говорит: да или нет. И это — все! Вождь может появиться всюду, и в монархии, и в демократии, но смысл верховной власти не в возительстве, а в охране того начала, которое народным сознанием воспринимается, как высшее. Назначение монарха, в качестве носителя верховной власти, это — забота о преобладании долга в жизни его подданных. Именно для выполнения такой задачи, как показывает опыт истории, вождь, даже самый выдающийся, обыкновенно менее пригоден, чем наследственный монарх. Вместе с тем, интересно отметить,

что среди известных историй монархов попало не мало подлинных вождей своего народа, тогда как в демократии верховная власть — сам народ — к водительству, очевидно, не приспособлена совершенно.



«Всякий случайный сброд людей, — говорит один из русских монархических мыслителей, — может образовать государство на демократических началах... Поддержанная силой, воля большинства совершенно достаточна для приспособления любого табора к текущим потребностям самого разношерстного люда, принужденного жить вместе. Но монархия в таком сбросе не может быть...» Однако, государство, построенное только лишь в силу необходимости «на демократических началах», является демократией, конечно, не столько по «содержанию», сколько по «форме». Демократии необходимо, без сомнения, демократическое правосознание подданных, — добровольное, а не вынужденное их согласие на подчинение воле большинства... Смирненное отношение к господствующим в народе движениям мысли и чувства — понятно. Это, в достаточной мере, — обычное состояние человека, как существа общественного: результат сознания силы и ценности организованного человеческого общежития, результат чувства общности с ним, если угодно, чувства стадности. Быть может, эти чувства изначальны. Как бы то ни было, в наиболее общем своем виде, власть всех над каждым, власть, впрочем, не столько политическая, сколько бытовая, не вызывает ни сомнений, ни возмущения. Она представляется даже добродетельной. Общество всегда обладает некоторой мерой духовного единства и скорее удерживает своих членов от морального падения, чем препятствует их культурному совершенствованию. При таком положении вещей отдельная личность, когда ей оказывается в тягость обычный порядок общественной жизни, конечно, должна поступиться своим собственным благополучием ради блага всех. Тут — ясно все. И не столько для демократа, сколько для монархиста. Ведь жертва частным во имя общего, — мотив долженствования, служения. Кроме того, в своем наиболее расширенном виде, идея целостности человеческого общежития. — идея единства, распространяющегося на все прошлое, настоящее и даже будущее своего народа, на его дух и тело, единства осмысленного или целеустремительного, — такая идея свойственна, прежде всего, сознанию монархическому. Ибо идея долга предполагает, конечно, наличие тех высших ценностей, которые составляют цель служения. Эти ценности, именно, и являются объединяющим людей началом, условием и сущностью их единства.

При монархии эти ценности находятся под защитой наиболее верного и стойкого начала в человеческом общежитии: под защитой родовой традиции самого старого и славного рода, — династии. В демократии эти ценности вверены наиболее зыбкому и духовно слабому элементу: совокупности обывателей или, выражаясь образно, толпе. Они поставлены в зависимость от ее быстротечных, идейно дряблых и всегда своекорыстных настроений. Не значит ли это, что

в демократическом сознании духовные ценности народа и, следовательно, его интересы, как исторического целого, занимают менее почетное место, чем временные и частные нужды тех, кто непосредственно участвует в составлении так называемой воли народа? Есть все основания предполагать, что это именно так и есть. Вникая в сущность демократического сознания, мы опять наталкиваемся на склонность к разложению, атомизированию общественных связей. В демократическом сознании общество распадается, улечивается в основной своей части, и от него остается всего лишь незначительная доля, — сумма тех, кто жив. В демократическом сознании чувство целостности своего народа мельчает, суживается, сосредотачивается на коллективе одних только граждан, уступает место чувству общегражданской солидарности. При дальнейшем своем оскудении, это чувство может выродиться в переживание классовой солидарности, как у социалистов марксистского толка, или же исчезнуть совсем в хаосе анархического сознания.

Нужно заметить, что и демократическое чувство общегражданской солидарности в достаточной мере понятно. Это чувство присутствует всюду, где только живут люди, но оно одно, конечно, слишком убого, чтобы осмыслить жизнь целого народа. Стоит ли толковать о нем, если народ обладает достаточным запасом духовного единства, чтобы сохранить свою целостность? С другой стороны, как может это чувство уберечь народ от распада, если духовного единства у него нет? всюду, где разногласия не имеют принципиального значения, сознание необходимости подчиниться большинству может быть продиктовано соображениями о личной пользе. Но там, где возникают разногласия чисто идейного порядка, и при условии, что вопрос о правде для людей не безразличен, как может воля большинства решить дело? Решение дел путем подсчета голосов не годится в тех случаях, когда людям важна правда. Правда не знает компромисса. Компромисс, это — примирение заботящихся о себе, а не ищущих правды. Ищущих правду может примирить только лишь сама правда. Каким же образом уживается в демократическом сознании любовь к правде с согласием на подчинение воле большинства?

Я уже говорил, что демократическое сознание, как и сознание монархическое, может быть основано в той или иной мере просто на обычае, и что этот момент политических переживаний, — момент безотчетной верности, — как бы он ни был значителен сам по себе, для нас не интересен, ибо не составляет для демократии, как и для монархии, сколько-нибудь отличительного признака. Я говорил уже и о том, что при всеобщем увлечении какой-либо идеей демократия, как и монархия, способна побрать в себя эту идею, — сделать ее своим «содержанием». Примерно так воспринимают демократию всевозможные либералы, социалисты, христианские демократы... Они все рассматривают демократию, если не всецело, то, во всяком случае, отчасти, как наиболее пригодное средство для осуществления их собственных идеалов. Однако, такое отношение к государственному строю, ясно, совсем не характеризует собой демократического сознания, ибо в том же своем идейном составе совместимо также и с монархическими переживаниями. В самом деле, как можно считать

специфически демократическим то сознание, которое ждет от воли народа признания своих идей, но в любой момент, не дождаввшись или попросту передумав, способно отказаться от демократии и принять, скажем, монархию? Ведь тут нет и намека на понимание воли народа, как власти верховной. Одновременное признание верховного значения какой-либо идеи и какой-либо власти возможно лишь в том случае, когда эта идея и эта власть слиты воедино самой жизнью, — когда их взаимная связь установлена, доказана и освящена историей, когда они нераздельны и в представлении подданных, и на самом деле. Именно такая связь — родство идеи и власти — имеется в монархии.

Веления монарха — пусть зачастую они и будут ошибочны — но в общем случае, в согласии с основным его назначением, преподаваемым самой жизнью, выражают прежде всего то, что можно было бы назвать духовным естеством народа. И если в представлении монархиста высшим началом в жизни, — не только для каждого человека в отдельности, но для всего человеческого общежития в целом — служат исторически определившиеся духовные ценности народа, по отношению к которым монарх — либо их единоличный выразитель, как в восточных монархиях, либо их первый слуга, как в монархиях христианских, то в применении к воле народа — к воле большинства — такого рода переживания вряд ли возможны, особенно в наше время. Во всяком случае, те идеи, осуществления которых ждут обыкновенно от власти самого народа, принадлежат совсем к иной категории. Это — не божественная воля божественной личности восточного монарха, и не христианская мораль, оберегаемая в светской жизни народа совестью монарха-христианина. Это, скорее — выражение тех запросов человека, которые считаются добродетельными только лишь потому, что их удовлетворение представляется практически полезным. Все эти идеи, поскольку они становятся достоянием научной мысли, находят себе теоретическое обоснование, обыкновенно в виде того или иного толкования природы человека и общества, истории вообще, или же каких-либо частных отношений и процессов в совместной жизни людей. Одним словом, идейная сторона демократии — «содержание» народной воли — даже в своем теоретическом изображении состоит всегда из мотивов не столько морального (пользуюсь этим словом в религиозном его значении), сколько утилитарного порядка, — не столько из исканной высшей правды, сколько, в лучшем случае, из забот об удовлетворении справедливых нужд населения. Основной мотив демократии или, точнее, воли народа, это — не жажда истины, не служение и не жертва, а защита своих интересов. Таковы либерализм и социализм. Идея христианской демократии не перекочевала еще из области чистого умознания в мир практической жизни и представляет собой всего лишь красивый замысел, который может принести своим приверженцам одно лишь разочарование. Однако, об этом — после.

При таких свойствах народной воли понять демократическое сознание можно не иначе, как допустив мысль, что вопрос о защите своих интересов представляется людям более важным, чем вопрос о служении духовным ценностям своего народа, по меньшей мере в

делах, подлежащих ведению верховной власти. В применении к нашему времени это означает отказ от признания за христианской правдой руководящего значения в жизни государства. Иными словами, сущность демократического сознания может быть понята лишь как преобладание, по крайней мере в политических переживаниях человека, начала частного над началом общим. Необходимо заметить, что иного отношения к своему общежитию быть и не может там, где люди находятся в состоянии духовного разобщения и разлада, в силу чего само это общежитие не представляется им ценностью, имеющей свое особое и высшее назначение. Демократическое сознание, в наиболее крайнем своем проявлении, признает, что воля народа первовна всегда, — каково бы ни было ее «содержание». Единственный предел, через который она переступить не может, — самоотрицание, отказ от демократии, принятие иного начал верховной власти. Эту мысль прекрасно выразил один из современных защитников демократии, говоря, что «демократия — режим отсылки истины и принципиального компромисса», и что «истина в демократии — то, за что голосует большинство».

Демократизация древней Греции шла под знаком растущего индивидуализма. Я имею в виду, конечно, не развитие индивидуалистических учений, а появление того состояния духа, того умонастроения, когда личность начинает сознавать себя, так сказать, определяющим началом жизни. Крайний индивидуализм всегда рационалистичен и маловерен. Свое теоретическое обоснование он получил много позже, у софистов. Но уже в самые ранние времена его последствия красноречиво отмечены изречениями тех первых греческих мудрецов, которых древнее предание связало с числом семь. В самом общем виде забота о своих интересах и стремление к самоуправлению не составляют специфических атрибутов демократического сознания... В древнем Риме борьба плебса против патрицианской аристократии не носила характера борьбы за демократию. Демократическая партия возникла скорее под влиянием Афин. Рим не знал тех крайностей индивидуализма, которые терзали Грецию. И Риму удалось притти к единовластию и создать великую империю, чего не сумели осуществить Афины. Можно преклоняться перед гением древних греков, но не следует забывать того, что их опыт совсем не доказывает практической несовместимости веры со знанием. Новая европейская демократия возникла, как и античная, на фоне индивидуалистических настроений, на этот раз, вооруженных теоретическим обоснованием. Я не утверждаю, что индивидуализм представляет собой неразложимое состояние человеческого духа. Весьма возможно, что он — всего лишь сочетание других и простых начал нашего сознания. Как бы то ни было, все данные говорят за то, что это именно он и является главным корнем демократических настроений.

Индивидуализм абсолютизирует личность, но зато релятивизирует все остальное. Он сокращает исторические духовные ценности народа и атомизирует сам этот народ. Вместе с тем, уничтожая цель служения, он губит чувство долга. Его проявления бывают различными по своей силе. Если он не слишком себялюбив, то абсо-

лютизирует не одну личность, но каждую личность, превращая общество в собрание самодовлеющих индивидов. Такой взгляд на общество давно отвергнут наукой, но я говорю не о науке, а о чувстве, и помню, кроме того, что они всегда менее четки, чем их словесные определения. Индивидуализм, как реальное состояние человеческого духа, а не продукт чистого умозрения, ограничен самой жизнью, природой человека, общества. В конечном счете, индивидуализм оказывается бессильным и перед фактом тех эмоций, которые определяются в человеке его общественными связями, и перед очевидной целесообразностью и даже просто силой самого общества, как упорядоченной совокупности живых людей. Атомизация останавливается или задерживается в своем разрушительном движении, когда подходит вплотную к физическому телу общественно-го организма, — к живым людям в их совместном существовании. Но когда догматы веры перестают быть критерием человеческой добродетели, когда человек сам становится «мерой всех вещей», то, естественно, власть правды исчезает, уступая свое место единственно возможной в таком случае власти, — власти всех или власти большинства. И эта власть приобретает принципиальное признание со стороны своих подданных. Подчинение воле народа становится подчинением единственно достоверной истине, а именно, — что человек есть высшая ценность. При таком положении вещей, идея власти каждого, хотя бы и самой ничтожной, сочетаясь с безусловной необходимостью подчиняться всем или же большинству, приводит с логической необходимостью и практической неизбежностью к таким умонастроениям, в которых слышится мелодия общественного договора...

В современной демократической мысли наблюдается желание очистить демократию от индивидуализма, маловерного и атомистического, и, больше того, связать ее с религиозной идеей на подобие того, как это делала до сих пор монархия. Для этого предлагается переделать демократию таким образом, чтобы ее политическая организация максимально отражала бы в себе подлинную социальную структуру народа, другими словами, построить демократию не на принципах политической атомистики, как это делалось до сих пор, а на таких органических началах, как разделение народа на трудовые корпорации, и выделение отбора лучших на основе непосредственного знакомства с ними избирателей и по признаку не партийной принадлежности избираемых, а их личных доблестей. Кроме того, предлагается вдохнуть как можно больше авторитарности в организацию власти тех, кто самой природой предназначен для водительства. Такая демократия, социальная или корпоративная, авторитарная, будет также и демократией соборной, поскольку она окажется способной связать всех в служении всеобщей, единой и высшей цели. Эта цель, естественно, будет выражать религиозные чаяния народа, его порыв к христианской правде. Таким образом, получится христианская демократия, — «царство народа Божия». Последнее соображение — о соборных качествах демократии — подтверждается тем обстоятельством, что православная идея соборности в переводе на светский или, вернее, политический язык есть идея демократическая, и что она всего лишь в силу досадного стечения исторических случайностей противоре-

ственно срослась с монархией, чему, конечно, должен быть положен предел.

Я уже говорил, что демократическая мысль постоянно думает значение монарха, как власти верховной или правящей, с тем его значением, какое он может иметь, а может и не иметь, в качестве власти управительной, в качестве вождя своего народа. Различие между демократией и монархией сводится исключительно к вопросу о власти верховной. То самое окончательное «да или нет», которое в демократии принадлежит народу, и которым в демократии народ так редко и неумело пользуется, в монархии принадлежит монарху. Поэтому указанная выше система народного самоуправления в полной мере может быть использована монархией, от чего, конечно, монархия не превратится в демократию. С другой стороны, никакая система народного представительства не в силах избавить демократию от ее, так сказать, первородного греха. Можно скрыть этот грех от неискушенных в политике взоров, замаскировав его какой-либо хитроумной комбинацией выборов, — да и то не надолго. А искоренить этот грех, это значит — убить демократию, превратив ее в олигархию или же диктатуру: в тайную или явную — не все ли равно? (думаю — уж лучше в явную, чем в тайную, лживую, с обманом демократических названий и речей). Этот грех демократии, собственно, и есть ее сущность, — господство большинства. Избавиться от этого ига демократия не может, не перестав быть демократией. Какова бы ни была организация народного самоуправления, основные цели и пути государственной жизни зависят от власти верховной. Высшие органы самоуправляющегося народа в самом главном — в идейном отношении — подчинены ей: в монархии — совести монарха, а в демократии — воле большинства. Однако, достаточно всем известно, да и само собой понятно, что в образовании этой воли участвует не столько совесть гражданина, сколько его забота о своих интересах. Духовные силы рядового человека не велики, а ведь нужно быть воистину героем, чтобы, голосуя, забыть о себе ради правды... При самоуправлении важна не воля большинства — важно выявление всех тех различных и подчас противоречивых интересов, которые определяются социальной дифференциацией общества. И примирить их друг с другом и, что главное, с интересами всего народа в его целом большинство не может, ибо само печалится прежде всего о своей собственной выгоде. Воля большинства не нуждается в правде и не бывает справедливой. Разрешение национальных и социальных вопросов ей не по плечу. Исторические духовные ценности народа она беречь не умеет. Скорее, она склонна губить их. И те, кто намеревается верить ей попечению о правде христианской, либо не учитывают низменной природы этой воли, либо ценят эту волю превыше всего на свете, превыше даже самой христианской правды. Воля большинства, как верховная власть, именно и есть то начало, которое противостоит в демократии началу органическому. — культурному достоянию и культурному единству народа. Эта воля, как верховная власть, именно и является в демократии выражением атомистической раздробленности народа, — указанием на отрыв народа от своего исторического прошлого, на утрату им сво-

ей духовной целостности. И когда она, эта воля, обретает в народном сознании безусловно верховное значение, то за духовной разобщенностью народа, без сомнения, скрывается потухание веры...

Формальное сходство двух миров, церковного и светского, — православной соборности и политической демократии, меня не обольщает. С одной стороны, стремление найти во всем единый принцип — недуг рационализма, видящего в жизни одни лишь логические связи. С другой же стороны, это сходство — только кажущееся. Оно — плод атомистического миропонимания, не замечающего в православной церкви самого главного. Единство верующих — и не только тех, кто жив, но всех верующих вообще, — не мыслимо без благодати Божией — возможно лишь потому, что Бог пребывает среди них. И в их общем служении Богу верховная власть принадлежит не им всем, взятым вместе, и не совокупности одних только живых, и, тем более, не какому-либо большинству, сгруппированному из этих последних, но — Богу. Выражаясь языком светским, соборное начало — монархично: «без Бога свет не стоит, без царя земля не правится» — поучает русская народная мудрость.

**

На основании всего сказанного о демократии и о монархии можно заключить, что спор между этими двумя видами государственного устройства не сводится к вопросу: власть народа над самим собой или власть одного над всем народом? Принимая во внимание, что управление народом не составляет главного назначения верховной власти, что народное самоуправление возможно не только в демократии, но и в монархии, и что в демократии, как и в монархии, преобладающим моментом в политической жизни рядового человека является не участие в верховной власти, но подчинение ей, принимая все это во внимание, нужно было бы предыдущий вопрос заменить таким: при разрешении основных задач своего государства — подчинение всех воле большинства или же воле монарха? Однако, в споре между монархией и демократией формальная сторона дела не интересна. Поэтому, заглядывая в сущность двух видов правосознания, монархического и демократического, и учитывая реальные качества двух видов верховной власти, воли монарха и воли большинства, мы приходим к вопросу: при разрешении основных задач своего государства — служение исторически определенным духовным ценностям своего народа или забота об удовлетворении частных интересов большинства, вернее было бы сказать, забота об угождении желаниям большинства? Этот вопрос выражает внутренний смысл спора между монархией и демократией. В русских условиях он звучит так: правление Русской Империей на основе христианской морали, или на основе «многомятежного человеческого хотения» русского большинства?

Париж. 9-7-38.

В. Попандопуло.